

В АНГАМИ НА ПОСИДЕЛКАХ

ИЛИ

ЧТО
СКАЖЕТ
ДЖИН



ПОВЕСТВОВАНИЕ В ДВУХ ЧАСТЯХ (ВИЗИТАХ)
ВИЗИТ ВТОРОЙ

I

Нет нужды напоминать главные события, постигшие наше отечество в период между моими двумя визитами в Среднюю Англию, между 1989 и 1995 годами. Только скажу, что процесс всеобщей суверенизации прошелся и по нашему семейству: теперь у нас в доме три суверена — я, моя жена Эвелина и дочка Катя. Меня лишили роли главы семьи (поскольку я лишился заработка как писатель), отпала обязанность отеческого попечения о домочадцах. Так же и Россия перестала быть “старшим братом” не только Украине, но и Якутии. Польша ошетибилась против России, каналы связи пресечены; мой друг сердечный Анджей Бень не подает голоса, жив ли, — не знаю. На окраинах нашего государства воюют. Смирнейший — мухи не обидит — Иван Ленькин насмерть враждует с поселившимся в деревне Старый Шимск агрессивным пришельцем из Осетии.

Возлюбленный в западном мире как провозвестник демократии в “империи зла”, нами же взелеянный себе на голову Горбачев ныне у себя на родине уподобился гороховому шуту, хотя по-прежнему со зловещей отметиной на лысом черепе: меченый Сатаной...

Наш народ, то есть мы, русские... Намедни ехал на электричке из Питера в Комарово, по новому урезанному расписанию: едущие набились

Окончание. Начало см. “Аврору” N 2-1996

Рисунки Эвелины Соловьевой

в вагоны как сельди в бочку — дети, собаки, старухи, тележки с поклажей, девки в обнимку с парнями... И хоть бы кто-нибудь возмутился, подал бы всхлип протеста... Только грудные младенцы орали благим матом... Народ у нас zelo терпеливый. Это в свое время заметил еще Иосиф Виссарионович Сталин.

За последние годы нас, русских, стало на два миллиона меньше. Предложенное Горбачевым “ускорение” обернулось ускоренным вымиранием.

Умерла в Лондоне, в возрасте восьмидесяти лет, Мария Лаврентьевна Пушина-Вильямс. Царствие ей небесное!

Что касается позитива... Ян и Джин Шерман Бог знает какими трудами, усилиями, затратами издали в Англии книжку стихов Ивана Ленкина “Сельские рассветы (Кантри даунс)”; вирши старошимского пиита переложил на английский Ричард Маккэйн, переводивший Ахматову, Пастернака, Мандельштама. Мало того, в Доме Пушкина (Пушкин Хаус) в Лондоне на 25 апреля 1995 года планируется презентация названной книги, заодно и представление... Я снесся с Иваном Ленкиным: “Ваня, поехали в Лондон, нас приглашают...” Он ответил: “Да понимаешь, у меня пенсии не хватит до Новгорода билета купить”

Моя пенсия не намного больше, но отказываться от приглашения друзей... Это как-то не по-товарищески. Я стал выкручиваться, разумеется, с помощью пригласителей. Что и как, вдаваться в детали скучно, я выкрутился, благодаря чему записал, главным образом, в Дорридже, в светелке на Уоррен Драйв, 12, мой второй визит на Острова.

II

21 апреля 1995 года. Дорридж. Ян принес (то есть привез) лосося килограммов на восемь, свежего, несоленого. Весь вечер Джин читала поварскую книгу (как видим, заботы англичан разнятся от наших), соображая, как лучше съесть большую рыбу (биг фиш). Лосось пойман в каком-то озере, в Шотландии. Джин спросила у меня: “Может быть, вы знаете, что с нею делать?” Когда у нас в Ладоге водились лососи, меня брали с собой рыбаки “пожохать” невода, за труды мне давалась средней величины лососка, я разрезал ее повдоль спины, вынимал хребет и внутренности, вытирал рыбий трюм чистой тряпкой, внедрял снаружи и изнутри соль с сахаром: два стакана соли, один сахару — смазывал постным маслом, запеленывал в полотенце, опускал в погреб, сверху доску с гнетом. Рыба засаливалась в собственном соку, получался нежнейший балык.

Большая рыба, купленная Яном Шерманом, была разрезана с живота, выпотрошена. Я бы из нее сварил уху, пожарил бы в масле с луком, но Джин выбрала что-то другое. Посмотрим...Назавтра биг фиш оказалась запеченной в духовке.

А теперь все по порядку, хотя, собственно, для чего порядок? и вообще, к чему все подробности перемещения отдельно взятого лица из одной среды обитания в другую? Данное лицо мало приспособлено к перемещениям, как и прочие лица пенсионного возраста в эпоху реформ. Мы все более впадаем в неподвижность, дабы упокоиться наконец — закон естества. И все же по порядку: накануне отлета в Лондон ночью у меня заболел зуб, очевидно, от общих треволнений. То есть корень выпавшего, отслужившего свой срок зуба... Вместо того, чтобы должным образом подготовиться к отлету, в шесть утра я побежал искать круглосуточно работающего зубного зубодера. Такого не нашлось. Зубы (корни зубов) выдирают с девяти утра. Мой самолет в Лондон в час пятнадцать. Без

четверти девять в зубо­вра­че­бный кабинет пришла русская красавица во вку­се Кустодиева, в белом халате, и вылу­щи­ла мой корень зуба за милую душу. Со­би­рать­ся в доро­гу уже было некогда. Пере­ко­сив­ший­ся от боли, похвалал кое-какие вещички, засунул в сумку, поцеловал дочку Катю...

В аэропорту "Пулково", пройдя контроль, я тотчас нашел стойку с уютной дамой, торгующей за рубли, взял пятьдесят граммов бренди и повторил. Это утишило боль в моей челюсти. Я вошел в салон самолета Аэрофлота, мне было известно, что мое место в курящем отсеке. Здесь, кроме меня, курящего, обосновалась пышно­во­ло­сая, курносая английская девушка, наша синеглазая женщина и досто­поч­тен­ного вида англичанин. Синеглазка тотчас заговорила с англичанином по-английски, по­ви­ди­мому не в силах долее скрывать свое англоязычие. Она спросила у сэра, чем он занимается в России — бестактный вопрос, совершенно не в правилах английского этикета. Сэр сказал, что занимается бизнесом. Второй вопрос синеглазки ни в какие ворота: "Сколько вы зарабатываете?" (Ну что возьмешь с русской бабы?) Сэр ответил невнятно, в том смысле, что рано судить.

Вскоре мы сидели рядом с русской англо­ман­кой, покуривали. За огнем приходилось обращаться к тоже курящей (видимо, испорченной в России: в Англии мало кто курит) ми­ло­вид­ной юной англичанке: зажигалку я забыл, будучи поглощен вырыванием зуба, последующей болью. После выяснится, что я забыл и более важные вещи: очки, письменное приглашение меня мистером и миссис Шерман в город Дорридж... Забылся и адрес моих попечителей в Дорридже... Боюсь, что дома осталось и нечто гораздо более существенное в поездке (и дома) — сердце, способное нормально гнать кровь. Взятое с собою в доро­гу сердце дает перебой, я хватаюсь за грудь, кладу под язык облатку... Это в самом начале... Знающие люди говорили, что вдалеке от дома, в непривычной обстановке организм отвлечется от домашних недугов, мобилизует силы... На эти силы я и понадеялся, пускаясь в путь; других у меня нет.

Сидящая рядом со мной россиянка-англо­ман­ка выбалтывала мне решительно все содержимое ее внутренне­го мира. Она сказала, что ее зовут Татьяной, летит из Омска в Лондон к жениху-англичанину, что ей 45 лет, а ему 54, он ей звонит из Лондона в Омск и всякий раз заканчивает разговор с подругой сердца одной фразой: "Я бы еще с тобой поговорил, но это дорого стоит, и я заканчиваю". Омская невеста лондонского жениха возмущалась такой меркантильностью: "Ну зачем же он мне-то говорит? если ему дорого, мог бы и не звонить, правда?" Татьяна сказала, что у нее в Омске муж, но они с мужем в разводе. Татьяна муж не женится, живет один, он главный пожарный в Омске, у него прекрасная квартира, и он выстроил дачу. Бывший муж каждый вечер звонит Татьяне, заверяет ее: "Мне больше не с кем поговорить, ты одна меня понимаешь". У Татьяны двое детей, сын женатый, устроенный, дочке пятнадцать лет. "Я мужу говорю, пусть дочка у тебя поживет, пока меня нет, а он говорит: "Нет".

В Петербурге у Татьяны есть сердечный друг Иван Иванович. "Я ему позвонила, говорю, так и так..." Он говорит: "Прилетай. Дорогу я оплачу" И все оплатил. У нас с ним платоническая любовь"

С англичанином Татьяна повстречалась в Омске, он там работал, что-то монтировал. И он полюбил Татьяну. Теперь он расторг свой брак в Англии, женится на Татьяне. "Мы будем свадьбу играть в Рубцовске у моей сестры. У нее свой дом, место красивое, я вообще Алтай обожаю"

Что есть у Татьяны, так это синева в глазах, как в небе над Алтаем. А больше в ней ничего такого как-будто и нет. Она работает в Омске в турецкой фирме. Турки ей платят... "Вы представляете, всего двести тысяч в месяц, обещали прибавить, я уже три месяца у них, оформляю всю документацию, не прибавляют. Вообще, они смотрят на нас, русских, как на рабов". Ну вот и приехали. Мог бы подумать граф Игнатъев, посол России в Константинополе, подписывая в 1878 году договор в Сан-Стефано, утверждавший полное превосходство России над Турцией, что через сто с лишним лет турки возобладают над русскими даже в Сибири?!

Еще в Лондон летят школьники из Совгавани, дети совгаванских богатеев, уже пятье сутки летят, с красивыми учительками, а одна ученица просто прелесть — эвенкийских, нивхских, удэгейских кровей метиска...

В аэропорту Станстед, в тридцати милях от Лондона, на паспортном контроле я попал к англичанину с большими усами, похожему на Оноре де Бальзака. Он коротко глянул на меня, почитал мои бумаги, спросил, знаю ли я по-английски. Я сказал, что немного знаю. Он задал несколько вопросов, на которые я не смог вразумительно ответить. Позвал переводчицу, та перевела мне его вопросы: "Чем вы будете заниматься в Англии?" Я сказал, что буду читать лекции по литературе. Для чего-то, то есть по старому моему опыту добавил: "Без политики". Проверяющий меня англичанин хмыкнул: "Можете и о политике" — "Спасибо" — "В каком графстве находится город Дорридж?" Ну, этого я не знаю. "Кто вас встречает?" — спросил контролер, похожий на Бальзака. — "Меня встречают мистер и миссис Шерман. Они вон там" — Я показал: до них рукой подать. Контролер сказал: "Посидите, я схожу к ним, погово-рю".

Через контроль проходили сибирские мужики — главы районных администраций Новосибирской области. То есть, один из них был, точно, районным главой. Мой Бальзак спросил у него: "Какая ваша должность?" Сибиряк отвечал с такой же интонацией, как если бы о должности спросили у королевы Англии, и она бы призналась: "Я королева" Маленького роста невидный мужичок, в прежние времена не потянувший бы на секретаря райкома, разве что на парторга колхоза, сказал, как отрубил: "Я — глава администрации ...района, Новосибирской области" (район я не уловил). Бальзак продемонстрировал знание географии, очевидно, для меня, не знающего, в каком графстве город Дорридж, промурлыкал: "Новосибирск, Омск, Томск..."

Сибирские мужики, по виду не тронутые модой запада, одетые как при Брежневе, Андропове, Черненко, раннем Горбачеве, все прошли без задержки. Я сидел на диване. Бальзак долго о чем-то разговаривал с посетителем из Санкт-Петербурга в Станстед человеком кавказской национальности, в мятой рубашке, выпущенной из штанов, и в тапочках.

Английская дама привезла на тележке с багажного круга мою сумку, набитую разными книгами, засунутыми туда впопыхах. Я остался единственным непропущенным.

Бальзак сходил в то место, где меня ждали, не дождались... Вернулся, спросил, в который я раз в Англии, сколько пробыл в последний раз. Я сказал, что в четвертый, жил месяц. Он опять взглянул на меня все понимающими глазами. Он понял меня как русского обалдуя: ездит в Англию, месяц живет — и ни в зуб ногой, даже не знает, в каком графстве Дорридж. Тут я вдруг вспомнил адрес моих приглашателей, радостно воскликнул: "Дорридж, Мидлэнд, Уоррен Драйв, твелв, то есть:

Дорридж, Средняя Англия, Уоррен Драйв, двенадцать. Бальзак не то чтобы улыбнулся, но как-то отмяк, сказал: "Иди. Желаю удачи"

Меня встретила Джин Шерман, мы выпили по большой кружке кофе с молоком, Джин сказала, что проверяющий отозвался обо мне: "Подозрительный человек" (сэспижен ман)." Джин отыскала в стаде машин свою красную, нового поколения — "Ровер" Мы сели, поехали.

III

Англию обуяла весна, уже готовая перейти в лето; повсюду зеленела трава и всходы, с кое-где разбросанными клочками желтого рапса, с желтыми одуванчиками у обочины дороги. Мы ехали два часа с четвертью, на всем зеленом пространстве Средней Англии я не увидел человеческого существа или какой-либо животины. Спросил у везущей меня Джин, где коровы, лошади, овцы. Она говорила долго, обстоятельно, я понял, что мясо в Англию завозит Германия, Франция, Испания, по-видимому и молочные продукты и шерсть. Заниматься скотоводством английскому фермеру невыгодно. Впрочем, мы ехали по самой середине Англии (мидлэнд), возможно, стада пасутся где-нибудь в Йоркшире или Уэльсе.

В Дорридже... Ну да, у меня нет слов сказать, что в Дорридже бывает весною (ин спринг), английских слов, точно, нет, а русские не подходят к тому, что видишь, обоняешь, осязаешь в Дорридже по весне. Посреди садочка, то есть лужайки Шерманов цветет белым цветом дерево. Я спросил у Джин: "Это яблоня (эппл три)?" Джин сказала: "Это — дерево Чехова (три ов Чехов)" То есть дерево из "Вишневого сада", вишня (черри). Деревья в лиловом цвету — черешни — тоже зовут черри. Незабудки и здесь незабудки (дон't forget ми). Ландыши — лилии долин. Колокольчики — голубые колокола (блю беллз). Ну, хорошо. На лужайку прилетают голуби-пиджеоны, то есть пижоны. И так нагло; явно, демонстративно превосходят наших голубей — величиной, добротностью, изыском оперения, солидностью форм, как машины нового поколения в Англии — наши "жигулята" Что ни говорите, как ни любите свое родное, но английские голуби раскормлены до невозможного у нас великолепия. Ну, ладно. Джин бросила на лужайку несколько булочек. Первым прилетел черный ворон, в полном смысле английский ворон, тоже великолепный, с лоском в пере, стал терзать булочку, как-будто это добытая им дичь. По всей лужайке разбежались пестрогрудые скворцы, и постоянно бывают в гостях черные дрозды, их здесь зовут просто: блэк бердз — черные птицы. А собственно дрозда обзывают таким словом, что лучше его не выговаривать по-русски, получается неблагозвучно. Утром и к вечеру дрозды дают концерты.

У нас есть выражение: "дать дрозда" — примерно то же, что "оторвать коленце" Очевидно, имеется в виду сольный концерт певчего дрозда: прилетит, сядет на конек крыши — и выдает ни на что не похожие рулады...

Концерты, вот уже четвертый год, дает в Дорридже и других местах Англии филармонический хор духовного русского пения "Россика", под управлением Валентины Копыловой, жены моего друга Александра Панченко, академика-гуманитария. Джин сказала, что жизнь в Англии, особенно в городах, и в частности, в Бирмингеме, лишена духовного смысла, гармонии, возвышенных эмоций. Когда приезжает в Дорридж "Россика", когда хор поет — в храмах и концертных залах, — тут-то и пробуждаются высокие чувства в очерстевших душах англо-саксов. Поют

по-русски, но, как сказал один дорриджанин, слова не важно какие, прекрасно само пение, музыка чувства.

Понятие о хоре “Россика” джин и Ян Шерман уловили от Валентины во время первого визита в Санкт-Петербург (тогда он был Ленинградом), у нас в гостях: Валентина им кое-что напела русское, из репертуара хора... В голове у Джин возник план (у Джин не голова, а дом советов): пригласить хор в Дорридж, расселить его по избушкам дорриджан, повозить хор по Англии, как голос России, может быть, и подзаработать на хоре. Так и вышло: в один прекрасный день в Дорридж, к дому на Уоррен Драйв, 12, приехал автобус с ленинградским номерным знаком, из него высыпала гурьба звонкоголосых, как дрозды, хористов и хористок... Год спустя, в другой прекрасный день самолет лондонского рейса доставил в Санкт-Петербург чуть не все народонаселение Дорриджа: Шерманов, Эвершедов, Риту Флетчер... (Помните, с чего началось? Лет восемь тому назад я вышел вечером прогуляться в Михайловском саду, навстречу идут англичане, с моей знакомой переводчицей “Интуриста” Татьяной. Я говорю: “Татьяна, может быть, кто-нибудь из них захочет зайти в русский дом? Милости просим.” Зашли Шерманы. Познакомились, попереписывались года два, наконец они нас пригласили к себе. Потом мы их к себе. И — закрутилось...) Валентина увезла дорриджан куда-то за город, в купленный ею дом, там купались в речке, собирали грибы (мушрумэ), всю ночь жгли костер (Валентина сказала: “Выпили ведро водки” — конечно, преувеличила). Морин Эвершед впервые в жизни увидела парящего над лугом коршуна, после восклицала: “Игл! игл!” (то есть: орел! орел!)

Цветущую черемуху я заприметил в Дорридже всего одну. И кое-где, в шелку, с сережками, нежные молоденькие березки. И тюльпаны, ирисы, нарциссы...

IV

Ян приехал с работы в половине восьмого вечера, в темном костюме с цветным галстуком. Он поднялся к себе на второй этаж, переоделся в клетчатый пиджак, сменил рубашку, галстук, ботинки. Яну Шерману 64 года, как и мне. Со времени моего первого визита в Дорридж он не постарел, а отвердел, утвердился в роли представителя среднего класса Англии, собственно, верхнего слоя среднего класса, элиты. Его дела, в должности юрисконсульта производственной фирмы в Бирмингеме, судя по всему, идут превосходно. Над столом у него на полке стоит толстенная книга: “Закон и практика митингов”, восьмое издание. Ян Шерман — автор этого кодекса проведения митингов в Англии. Вот бы его к нам, в нашу самую митингующую страну. Хотя митинг в России едва ли возможен по кодексу и закону...

В короткие минуты досуга Ян переводит на английский мои стихи. В субботу мы с ним полдня вместе переводили мой стих, написанный перед поездкой в Англию, специально для англичан: “Люблю собак”. Англичане — первые в мире собачники. Вот он:

*Люблю собак за их лохматость,
за нрав, за искренность хвостов,
за непохожесть на приматов,
за и, собачью, к нам любовь.*

*Собаки — наших рук творенья,
у них в глазах при свете дня*

*мерцает кротость примиренья:
"Смотри, я твой, не брось меня"*

*Собаки в том не виноваты,
что не умеют говорить;
они, как малые ребята,
мы их не вправе укорить.*

*Они, как мы: по науценью
питают ласку или рык.*

*Не уповая на прощенье,
в живую плоть вонзают клык.*

*Когда собаки умирают,
от глаз сторонних вдалеке,
лишь птицы музыку играют
и дети плачут в уголке...*

Вечером в доме Шерманов прием (парты). Все же обнаруживаются признаки обрусения английской семьи. Очевидно, сказалось долгое пребывание хористов и хористок в Дорридже, гостевание дорриджан в Питере: составили общий стол, наварили большую кастрюлю картошки в мундире, подавали запеченного досоя, ветчину, всевозможные салаты, вина испанские, новозеландские и русскую водочку, привезенную мной. В прежние времена, помню, стола не накрывали, все топталось по уголкам, щебетали о чем-то своем, а тут вдруг общие тосты, а после и чтение стихов — мною по-русски, Яном — в его переводе — по-английски. Да, кстати, за время нашего знакомства Ян изрядно выучил русский язык.

Наш вечер украсила чудная русская девушка Юля (англичане зовут ее Джулией). Она заканчивает в Москве юридический факультет, приехала в Бирмингем на практику, в патентное бюро... Юля свободно, поголубиному воркует по-английски. За три месяца работы в бюро проявила недюжинные способности в юридическом крючкотворстве и уже приглашена, по окончании учебы в Москве, на постоянную работу в Бирмингем. Вот как бывает, ежели Бог наградил тебя умом, рассудительностью, ежели не профукать все это зазря. Глава патентного бюро (элита среднего класса) имеет дом в Дорридже, пригласил Джулию к себе на жительство, ну, разумеется, с согласия жены... У Юли есть коса, как у героинь русской классической литературы (у Чехова уже стриженные барышни). Юля села к пианино, спела два русских романса.

Сейчас полдень, денек пасмурный; поразительно знакомо, красиво, печально что-то выговаривают, высвистывают дорриджские дрозды, то же самое, что в Комарово. На соседнем с Шерманами участке крепкий упитанный мужик (все та же элита среднего класса) окапывает кустарники. Состоятельные англичане малоподвижны, ездят на машинах даже в гости к своим соседям, в машинах нового поколения удобства доведены до абсурда: в такую машину садиться как в гнездышко, задним местом вперед, каждый член твоего тела пребывает в позе отдохновения, не подумай искать ручку поднять-опустить стекло, нажми кнопку — и все о кей. Как говорит в таких случаях Дэвид Грэгг, муж сестры Джин Мэри, профессор-химик на предприятии "Юнеливер" в Ливерпуле, живущий в городке Бебингтоне, — крэйзи! то есть безумие. Но у каждой семьи есть свой садик, лужайка, клумбы, грядки — есть к чему приложить руки, дать порадоваться телу. Ян вчера вскопал грядку, посадил штук



пятнадцать картофелин; скошенная трава у него сложена в бурт, на компост. И еще повсюду зеленые стадионы — клубы тенниса, гольфа, крикета. Джин надела белые брюки, пошла на теннисный корт помахать ракеткой, после жаловалась: “Плохо, совсем плохо, колени болят” Представьте себе нашу старушеницу на седьмом десятке, размахивающую ракеткой. В Англии все разумно, достаточно, немыслимо прекрасно и все так... скучно... Для русского человека. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки...” Это мог сказать только русский человек.

Это в нас вошло, мы помним нашим задним умом. Русская скука убийственнее английского сплина. Я не выхваляюсь как патриот, тем более, не сваливаю на Англию свою собственную скуку; дома мне еще скучнее. Но до чего же в Англии тесно после России. Некогда англичане захватили полсвета, но не растворились, вернулись к себе на острова, прихватив чужие сокровища, обустроили, как говорит Солженицын, свою маленькую Великобританию.

Когда я ехал с Джин из Станстеда в Дорридж, физически испытал невозможность переступить за белую ограничительную черту трассы, на зеленый луг, в кустарник, стать ногами на живую землю: земля чужая, частная, запретная. Скажите на милость, для чего нам уподобляться Англии? Почему разеваем рот на что-то чужое, не уподобляемся самим себе? Моя русская душа плакала и стонала от английской благоустроенности, поделенности на твою и мое. Помните, как мой друг Женька Бабляк, русский англичанин, сбежал из родительского дома в Лондоне, на Шепердз Буш Грин, на родину в Советский Союз и наслаждался возможностью идти по общей, неприватизированной земле, по лесам и лугам? Увы, без времени помер: средняя продолжительность жизни в России много ниже, чем на Островах. В Англии жизнь настолько отлажена, что, кажется, некогда помирать, а стареть и вовсе нет смысла. Ну давайте поучимся

английскому благоразумию, себялюбию! Но сохраним нашу русскую общинность владения и пользования тем, что дано нам Господом Богом! Нам так много дано, и такие мы бедные. Бедность от нищеты духа, от преизбытка доверчивости, неверия в себя. Не прельстимся же на чужое, от чего нам не перепадет ни полушки. На западе так несносно тесно, запад так завидует нам, так зарится на Россию, где сколько угодно земли, воды, неба, красивых девушек...

V

После фермы Хэмметов поехали в город Солихалл, в колледж: Джин договорилась в колледже показать меня, русского писателя (рашен райтер), старшеклассникам, изучающим русский язык. Нас привели в аудиторию с окнами во всю стену, с видом на цветущую весну в Средней Англии (мидлэнд). В ряд сидели восемь учениц переходного возраста, из девчоночьего в девический. Урок вела учительница русского языка, без каких-либо признаков — в одежде и поведении — “среднего класса”. Урок русского языка был построен на материале убийства Влада Листьева. Один из вопросов такой: имел ли право президент России Ельцин снять с работы московских прокурора и главного милиционера. Ответ: нет, не имел, он поступил как секретарь обкома КПСС. Мне не хотелось говорить на эту тему. Я так и сказал. У каждой из девиц, изучающих русский язык в колледже в Солихалле, был заготовлен ко мне вопрос. Одна спросила: “Что вы думаете о будущем России?” Я сказал, что у меня нет плана, как обустроить Россию, что я люблю Россию, верю в нее, мучаюсь и, конечно, надеюсь. Иначе жизнь для меня, русского, не имеет смысла.

Вечером Джин ушла на урок итальянского языка. Ян сказал, что Джин уже двадцать пять лет каждую неделю ходит к кому-нибудь из итальянского кружка в Дорридже, по два часа поговорить по-итальянски. Итак... Утром Джин играла в теннис, возила меня на ферму, в колледж, сварила обед, два часа разговаривала по-итальянски... Джин сказала: “Ай эм тайэд. Я устала”. Вообще, это любимая тема у англичан, они то и дело спрашивают друг у друга: “Вы устали? вы немножко устали? вы очень устали?” Отвечают: “Я устал. Я немножко устал. Я очень устал”.

И правда, как же тут не устанешь?!

VI

Вчера мы сели в “Ровер” Яна — очень хорошая машина, стоит 19 000 фунтов стерлингов (у Джин “Ровер” поменьше, стоит 5000), Ян вырулил на большую дорогу М-6, через два часа въехали в Лондон. Ян иногда сверял дорогу по карте. Переехали Лондонский мост, прокатились по Сити (сначала Сити, потом мост), поворачивали туда-сюда... Все шло как по маслу, вскоре мы оказались сидящими в конуре Ричарда Маккэйна, молодого, розоволицего, с толстыми губами, в очках, с одной ногой короче другой, в скрипучем ботинке на укороченной ноге, курящего трубочку. Теснота, захламленность квартирки (в университетском общежитии) переводчика с русского (и с турецкого) на английский — воистину петербургские. И дома в этом районе Лондона такие, как у нас в Купчине, и старухи в окнах, и лестницы, дворы, дворовые кошки, голуби...

По пути в клуб Пушкина (Пушкин Хаус) на Лэдброк Гроув, неподалеку от Гайдпарка, мы съели в забегаловке по цыпленку. Клуб Пушкина на первом этаже старинного дома, у входа металлический барельеф Александра

Сергеевича; клуб Пушкина существует сорок лет. Внутри в гостиной уютно: икона в красном углу, на стенах портреты знакомых лиц, на полках те книги, что у меня в кабинете. Секретарь клуба Люси Дэниелс, хорошо говорящая по-русски ирландка (Ричард Маккэйн — председатель, должность выборная, неоплачиваемая) нарезала лимон, наливала чай, подавала печенье. На чайном столе лежала записка: стакан чая 40 пенсов, с печеньем 50.

В гостиную Дома Пушкина к назначенному часу собралось человек сорок людей не первой молодости (англичане? русские?). Попервости я заговорил в общем плане: “Наша литература в данный момент переживает...” Видел перед собою замкнутые лица, один мужичок в заднем ряду ронял голову, убаюкивался. Я сменил пластинку, прочитал стихи Ивана Ленькина, свои, Ричард Маккэйн, Ян Шерман прочли переводы. Наступила отдушина. Выступление перешло в беседу. Сидящий в первом ряду англичанин попросил рассказать о Шукшине. Переводила высокая, костлявая, в очень короткой юбке, в колготках жирафьего окраса, с длинным носом, глубоко вырезом на груди дева, отнеслась ко мне по-дружески, по-свойски, представилась: “Лариса”. Русская женщина со знакомым лицом сказала, что читала мои мемуары в “Нашем современнике”, похвалила за смелость: “Такие вещи публикуют после смерти автора...” Другая русская женщина призналась: “Я вас читала еще в детстве. Вы же живой классик” Я согласился: “Да, классик. Живой” Подошла крепенькая, как боровичок, старушка, шептала: “Они ничего про Россию не знают и знать не хотят. У них молодежь литературу не читает. Против них немцы в войну две дивизии выставили, а против нас двести двадцать, а они надуваются: мы победили. Я сколько сюда хожу, в первый раз живое слово услышала. Вы еще приезжайте, мы вам дорогу оплатим. Это же недорого, от Ленинграда всего двести фунтов”.

Я еще не уехал. Вот он я.

Молодой мужчина в кучерявой бородке, с характерным, тоже знакомым выражением на лице, представился: “Я — диссидент” Я заверил его: “Я вижу” — “Я сам из Иркутска. С 74-го года меня преследовали. Четыре года в психушке, в Костроме. Меня зовут Сергей Иванович...”

— Желаю вам всего хорошего, Сергей Иванович.

По окончании вечера встречи в Доме Пушкина на Лэдброк Гроув мне долго хлопали. Ну вот, ради этого я приехал в Англию... Может быть, мне помог Николай Угодник, вон там, в красном углу гостиной?

После вечера Джин Шерман торговала книжкой стихов Ивана Ленькина “Сельские рассветы” и моей “Видения” Кое-что натрговала, ужю передам Ивану. Когда это будет? Боже мой, как еще долго и далеко до дома.

Обратно ехали будто на автопилоте, только промелькивали огни за окном.

Сегодня ветрено, ясно.

VII

Бэбингтон. Дом Грэггов. Уикэнд.

В гостях были детский писатель Клейтон, похожий на Голявкина, с супругой. Были приглашены две русскоязычные дамы, где-то здесь обитающие, но занемогли или уклонились, не знаю. Я прочел собравшимся мое стихотворение в прозе “Похвальное слово молоку”, по-английски, в переводе Люси Дэниелс, секретаря Пушкинского Дома.

На дворе у Дэвида с Мэри одуванчики, ирисы, вереск, гвоздики, крохотные елочки.

Ян сменил третий галстук, хотя уикэнд еще в середине.

Дэвид Грэгг принес толстенную книгу Кауфмана “Холмы и долины (хиллз энд вэлиез)”, сказал: “Это открытие важнее, чем Эйнштейна”. Я спросил: “В чем открытие?”. Дэвид сказал: “Как делать деньги”. И добавил: “Я — капиталист”. Дэвид Грэгг — профессор химии в фирме “Юнеливер” в Ливерпуле. Помните, во время первого моего визита в Бэбингтон, он наводил собственный телескоп на Луну, моя жена Эвелина восклицала: “Вот она, вижу”. Нынче у Дэвида Грэгга еще более совершенный телескоп.

И еще — помните? — у Мэри и Дэвида Грэггов приемный сын Майкл, мальчик с отклонениями; в первый визит ему было двенадцать, теперь восемнадцать. Майкл вырос в толстого, мордастого детину, в поведении агрессивен, правда, добродушно-агрессивен, пока... К какой-либо трудовой деятельности Майкл не пригоден, по-прежнему остается баловнем-ребенком в семье. Ему куплена небольшая (как наши “Жигули”) машина, он имеет права. В семейных поездках папа и мама отдают Майклу руль.

По утрам, как и в первый визит, вижу: Мэри выходит в сад, плачет, курит — я думаю, единственная курящая домохозяйка в среднем классе Англии. Ах да, еще Рита Флетчер, но у нее свои причины вздергивать нервную систему табачным дымом.

В воскресенье поехали на двух машинах (в машине Дэвида за рулем Майкл) на побережье Ирландского моря, в устье реки Мези, гуляли на лаиде, обнажившейся во время отлива. В прибрежных, заросших осокой болотцах лягушачий заказник: огорожено, на кольях предупреждения: осторожно! лягушки! Над нашими головами трепыхались, заливались жаворонки, как на берегу Шелони, у Ивана Ленкина в Старом Шимске.

Дома в Дорридже (в Лапворте, это рядом) вечером прием у Барри и Морин Эвершед. Барри по-прежнему директорствует в школе для детей с отклонениями, таких, как Майкл Грэгг, Морин — помните? — занималась разведением кошек — необыкновенных, с длинными лапами, удлинненными глазами, похожих на звезд Голивуда — для продажи в разных странах по заявкам. От кошачьего стада остались две красотки, может быть, кошачье дело прогорело, или интересы Морин переключились в другую сферу. Как знать? Две кошки в доме Эвершедов сохранили за собою права беспрепятственно расхаживать по сервированному для званого ужина столу, отведывать вместе с хозяевами и гостями все блюда. Кошки Эвершедов передвигаются в пространстве, как космонавты в невесомости, будто сомнамбулически. Впрочем, такова же и хозяйка дома, Морин.

На участке Эвершедов возделан их руками огород, мне его показали; Эвершеды вегетарианцы, “зеленые” до мозга костей. Морин — активистка движения против экспорта живых телят, участница манифестаций. Она принесла гигантский фотоальбом под заглавием “Гласность”, в котором собрана вся гадость о нашей стране: “ГУЛАГ, Катынь, рожи наших генсеков... Я сказал, что есть другая правда о России, а поскольку двух прав не бывает, то эта кость — ложь. Морин посмотрела на меня, как операционная сестра смотрит на безнадежного больного: положили на стол, взрезали и зашили; сострадание бесполезно.

Англичане капитально зазомбированы — своим агитпропом — на антисоветизме, неуловимо для них переходящим в русофобию. Хотя Морин Эвершед в восторге от поездки в Россию: она увидела там живого орла в

небе (игл!), пусть это был просто коршун. И ее восхитили мириады снующих туда и сюда муравьев; в Англии мурашей извели под корень.

Сегодня, Первого мая, мы ездил с Джин на стадион смотреть матч по крикету. Ехать за четыре дома от Уоррен Драйв, 12. Джин взяла корзину с ланчем: термос с чаем, молоко, сахар, сэндвичи с ветчиной. Мы ланчевали на скамейке у зеленого поля; на поле парни в белых брюках и белых рубашках играли в крикет: один разбежался, с заученным, ритуальным замахом кидал мячик под биту стоящего поодаль в крагах с наколенниками, тот отбивал. Кто-нибудь из стоящих в определенном порядке белобрючников подхватывал отбитый мяч, отдавал забойщику. Что-то в крикете было похуже на лапту. По обе стороны поля стояли два судьи, оба в белых смокингах, черных брюках, огромного роста, по-видимому, в прошлом крикетные забойщики, один из них в соломенной шляпе.

Джин сказала, что эта игра — ритуальная, в ней важны каждое движение, поза игрока. Игроки передвигались по полю медленно, с достоинством, судьи были преисполнены важности.

Немножко забегая вперед, скажу, что Крис Эллиот, с которым вскоре подружился, так отзовется о крикете: “Совершенно идиотская игра”

VIII

Моя вторая поездка в Лондон состояла из недоразумений, коротких обольщений и столь же коротких отчаяний. Утром Джин повезла меня на станцию железной дороги Бирмингем Интернэйшнл. Только отъехали от дома, схватилась за бока: что-то забыла. Оставила машину посреди улицы, убежала. Плохая примета! Возвратилась. Поехали.

Лондон? Ну что же, Лондон есть Лондон — невообразимый, неохватный вселенский Вавилон. Мне надо было попасть на Пикадилли, в кассу Аэрофлота, обменять обратный билет с пятого мая на двенадцатое. Именно в эти дни, с пятого по двенадцатое, Ян и Джин собираются меня куда-то спровадить, очень важное дело — для меня, чтобы я понял, в чем суть их Англии.

Пока что я понял одно: прижиться на их островах такому, как я, старому русскому человеку советской формации, избави Боже! Мне тесно на островах, я привык осязать себя обитателем одной шестой части суши земного шара. Я не могу жить в стране, в которой едущему по дороге (идущего в Англии не бывает) нельзя ступить за белую полосу на краю — там частные владения.

Такая, как в Англии, автомобилизация нас в России не сблизит: на уик-энд из Питера в Сыктывкар все равно не съездишь на авто.

Да, так вот... В Лондоне сориентировался по карте, от вокзала Юстон пошел прямо по Вобурн Плэйс, затем Саутхэмптон роу, Кингсвэй, до дуги Олдвича, свернул направо, на Стренд, вырулил на Трафальгарскую площадь, посидел под сенью адмирала Нельсона, вознесенного в немыслимую высь, попил пепси-колы, покурил, пробился сквозь многотысячное стадо прикормленных голубей, выгреб на Пикадилли...

Девушка за стойкой офиса Аэрофлота отнеслась ко мне с пониманием. У меня было трогательное письмо Джин Шерман Аэрофлоту: Джин заверяла, что я — желанный гость их семьи и вот занемог... Я (то есть их гость Глеб) должен еще побывать там-то и там-то, провожу время с пользой для русско-английской дружбы, выступил в Пушкинском Доме... Джин просила Аэрофлот переменить мне билет с пятого на двенадцатое мая.

Русская девушка отнесла мой билет и письмо английской девушке — менеджеру — та тоже мне покивала. Мне сказали: “Сейчас нет нашего шефа. Придите через два часа”

В состоянии обольщения я пересек площадь Пикадилли, спустился по ступеням в Грин Парк, расположился на скамейке. Покуда сидел, дважды мимо проползла подметающая машина, из нее выскакивал малый, заглядывал в урну, сколько от меня сору, извлек мой единственный окурочок.

В Грин Парке там и сям на сбритой по-английски траве, то есть на травяном мате, лежали в обнимку пары, лизались. В шезлонгах сидели леди и джентльмены, за шезлонг надо платить 60 пенсов, на скамейке сиди задарма. Сходил к жаровне с хотдогами, обжигаясь, обмазываясь кетчупом, с отвращением сжевал несъедобную сосиску. Еще посидел. Явился в Аэрофлот, почти уверенный, что мое дело в шляпе, мой билет добрые девушки поменяют, и мне еще долго смотреть в глаза доброй старой Англии. Молодая проносится мимо... Куда?

Русская девушка сказала с полуулыбкой:

— Вам не повезло. Поменять невозможно, это такой рейс, самая низкая цена.

Я сказал:

— Милая девушка, в Англии есть закон, по которому человек после шестидесяти лет имеет право поменять или сдать свой билет куда бы то ни было. Это — элементарное уважение к возрасту...

— Это в Англии, — сказала девушка, — а не у нас...

Ну вот, плохая примета: Джин вернулась, едва отъехав от порога своего дома; пути не будет...

На Олдвиче против Кингсвея я вошел в Буш Хаус — цитадель радиокорпорации Би-Би-Си: меня пригласил зайти к нему на радио — записать со мной интервью — обретенный в Доме Пушкина новый лондонский знакомый, впрочем, знакомый и по Москве. Назовем его... ну, скажем, Русланом... Вход в Буш Хаус массивный, как и сама цитадель, с широкими каменными ступенями, с дверью-вертушкой. На стойке предупреждение: в офисе Би-Би-Си не курят. Специальная противопожарная полиция вас обнаружит, если вы задымите...

Я позвонил Руслану, он прислал за мной девушку, мне выдали квиток на проход. Наверху, в редакции у Руслана, молодые люди разговаривали по-русски. Руслан завел меня в маленький отсек с двумя микрофонами, задал вопросы, я ответил. И мы поехали к Руслану домой, в пригород Лондона Кройдон, сначала на метро, потом на поезде, с вокзала Виктория... Руслан с женой Ириной живут в таком доме, как у большинства англичан в маленьких городках — двухэтажном, но занимают второй этаж; на первом другое семейство. Впрочем, я не входил в обстоятельства любезно пригласившей меня с ночлегом (а где еще в Лондоне ночевать? под Лондонским мостом?) русской семьи, живущей в пригороде Лондона, но как-будто не насовсем уехавшей из Москвы. Мы сели к столу, только вошли во вкус на русский манер приготовленного ужина, увлеклись критиканством в адрес английской кухни... и в это время в меня вошла боль. То есть боль вошла раньше, но я все время принимал такую позу, чтобы не чувствовать ее. Боль представляла собой нечто совершенно невозможное в этот вечер в пригороде Лондона Кройдоне. Боль выпадала из этого вечера, но не выпадала из меня. Боль вошла в мою левую лопатку, в предплечье, как при моем первом инфаркте. Я проглотил взятые из дому лекарства, но боль не заметила их.

Я сказал хозяину дома в Кройдоне: Руслан, так и так... Он не ужаснулся, не отшатнулся от меня, его ровное домашнее настроение осталось таким, как было. Он сказал (то есть они сказали вместе с женой Ириной):

— Сейчас мы вызовем врача. Это в Англии бесплатно, за счет наших страховых взносов, это сохранилось еще от лейбористов, от социализма в Англии, — народная медицина. Если у тебя есть лишние деньги, — пожалуйста, лечись у частных докторов, а так здесь с этим просто...

Руслан позвонил, через двенадцать минут явились два молодые джентльмена, с переносным аппаратом, сняли у меня электрокардиограмму... Один из двоих — доктор (другой сядет за руль скорой помощи) — сказал, что надо меня отвезти в больницу (хоспитэл). Меня вывели под руки, усадили в карету, минут семь ехали, стали. Меня пересадили в кресло с колесами, привезли в бокс реанимации, как в свое время у нас, когда меня привезли с моим первым инфарктом в больницу города Сестрорецка (тоже пригород, но Ленинграда), уложили в постель с поручнями, с приподнятым изголовьем. Сестры: одна светлая, другая темнокожая — раздели меня, вдели мои руки в рукава пеньюара. Одна из них побрила шерсть у меня на груди, чтобы не отваливались резиновые присоски электрокардиографа. Меня подключили к аппаратуре. Я полулежал в прострации. Со мною могло случиться нечто неместимое в мой внутренний мир: вдруг сейчас меня отключат от внешнего мира, увезут, уложат, я останусь совершенно один в антимире. Надо мною в изголовье стоял Руслан и молчал. А что тут скажешь? Так продолжалось около получаса, мною овладела невыносимая тоска, поглотившая все другое; я не чувствовал даже боли, только тоску расставания со всем, даже с возможностью говорить. Английские слова позабылись, речь окружающих стала совершенно невнятной. Пришел доктор, молодой, темнокожий, повидимому, индус (или пакистанец), спрашивал у Руслана, тот переспрашивал у меня, какова моя боль, в каком месте. Доктор прочел ленту моей кардиограммы, произнес последнее слово — мне приговор. Приговор выслушивают стоя, но я безучастно полулежал, как постороннее тело. Руслан перевел слова доктора:

— Доктор сказал, что у вас нет инфаркта. Скорее всего, боль простудного характера, вроде прострела.

Я быстро снял пеньюар, высвободился из постели, оделся, сказал доктору: "Тэнк ю вери мач!" Мы с Русланом быстро зашагали по холодку, по городку Кройдону; моя боль улетучилась; чудо жизни — свобода распорядиться собою, ну вот, хотя бы быстро идти — переполняла меня... телачьей радостью, как если бы английского теленка избавили от мук перевозки в клетке на убой в другую страну.

Я подумал, что плохая примета: вернулся в начале пути, — пути не будет — действует в течение календарных суток. Уже перевалило за полночь...

Я с чувством сердечно благодарил Руслана, Ирину за их участие во мне. Они говорили:

— Ну что вы, в Англии это просто.

И другие слова.

Мы выпили с Ириной бутылку вина (Руслан не пьет будучи мусульманином).

Перед сном возле меня мурлыкал английский рыжий кот.

Вечером мы поехали с Барри и Ритой Флэтчер в итальянский ресторан. Вначале посидели у камина в доме Флэтчеров. Барри принес бутылку Смирновской водки, сказал, что эта водка хорошая (гуд), мягкая (смут). Я выпил мягкой "смутной" водки со льдом, Барри и Рита белого мозельвейна. Барри принес пепельницу с секретом: сунешь в нее окурок, из чрева пепельницы раздается кашель, перханье... Смешно. Принес копилку: всунешь в щель однопенсовую монету, внутри заурчит, раскроется крышка, высунется костлявая рука, схватит монетку, крышка захлопнется. Ха-ха-ха! Рита сказал, что Барри как малый ребенок.

Поехали. Недалеко. Гостиница с рестораничком у дороги. Посидели в предбаннике, покурили, чего-то выпили (мне Барри опять поставил водки, полагаю, что в этом моя особенность как русского: глушишь водяру). Хозяин ресторана, толстый, как бочка — буквально, в талии в два обхвата — о чем-то поговорил с Барри. Официанты тоже отнеслись к Барри по-приятельски. Про меня Барри сказал, что я из России, то есть меня привезли в ресторан как штучку с секретом: вдруг раскроется и схватит. Впрочем, ни ка кого это не произвело впечатления. В Англии вообще никто ничему не удивляется. Барри спросил, что я буду есть, мясо или рыбу. Я сказал: мясо (мит) — рыбу ел в этой компании в прошлый раз. Перешли в ресторанный зал, сели за нас ждущий стол, опять чего-то выпили без закуски... Для начала всем принесли по ломтю ананаса, завернутому в тонкую долю копченой ветчины. Вкусно ли это? не знаю. Если бы мне дали... селедочки с картошечкой, соленой капустки, маринованного гриба-подосиновика, я бы знал, что это мне по нутру. Вскоре официант принес Рите рыбу, Барри, похоже, крабовые ножки, мне целую ляжку теленка...

В то время, как Барри и Морин Эвершед, с легионами своих единомышленников-вегетарианцев, митингуют в защиту телят... Да... Теленка я съел с превеликим аппетитом, поскольку в тот день остался без ленча, удовольствовался несколькими прелестными чашечками чая (э найс кап ов ти). Запил божественным итальянским вином. Еще что-то дали, не помню, объелся, ополоумел, кажется, клубнику в креме. Итальянский ресторан заполнился, за всеми столами сидели солидные англичане с женами, уплетали за обе щеки, размеренно, вплолоса лопотали. В атмосфере сгустилась непробиваемая скука излишнего, как ананас в ветчине, благополучия, благоразумия.

Барри Флетчер, единственный в итальянском ресторане похожий на итальянца, вдруг разнервничался, отшвырнул своих крабов, закурил (за столами не курят; вообще средний класс в Англии некурящий), куда-то убежал. Мы с Ритой вышли следом. Барри вымучивал из автомата сигареты "Силк Кат (Шелковый отрез)", с низким содержанием смолы, самые дорогие. Самый богатый человек из Дорриджа нервничал: автомат ему не давался, деньги заглатывались, сигареты не выпадали. Хозяин фирмы "Дом моториста (Хоум ов моторист)" в Бирмингеме врезал в железное мурло автомата кулаком...

Джин Шерман как-то сказала про Барри Флетчера: "Он самый несчастный (анхэппи), печальный (сэд) человек в Дорридже" Почему так? Не знаю. На шее у Барри, от воротничка до щеки, шрам от недавно перенесенной операции... Это в подтверждение тривиальной истины, что не в богатстве счастье...

Мы вышли на волю, в небе чуть прорезался молодой, как съеденный

мною теленок, месяц. На площадке ровными рядами стояли одинаковые — самые дорогие железные гробы жующих в ресторане богатых англичан...

Да, вот еще, пока не забыл: уик-энд у Мэри и Дэвида Грэггов, в Бэбингтоне, под Ливерпулем... Это — северо-запад Англии, здесь попросторнее, чем в Средней Англии, дует бриз с Ирландского моря, на горизонте синеют горы Уэльса, на той стороне реки Мези Ливерпуль с его жуткой химией... В Бэбингтон Ян Шерман ехал (драйв) как к себе домой в Дорридж. В каком-то из городков остановились у ограды похожего на другие дома. Джин сказала:

— Здесь жили мои папа и мама.

Я помню папу и маму Джин, зимою 1989 года мы сидели у камина в их доме, матушка Джин и Мэри Энни (и мою маму звали Анной) подавала нам чай с молоком, с ею испеченным бисквитом. Отец Джин и Мэри, дедушка Джон, большой книголюб, включил говорящий ящик с романом Оруэлла (читать уж не мог, глаза прохудились). Родителей Джин и Мэри унесло время, их нет, не будет и нас — единственная непреложная истина, о которой мы забываем, будучи в плену у преходящих оболещений.

— Здесь Джин работала семь лет, здесь мы с ней познакомилась, — сказала Ян, когда мы проезжали мимо длинного кирпичного строения химического производства. Оказывается, Джин по специальности инженер-химик, но, как большинство женщин среднего класса, посвятила себя управлению домашним хозяйством.

Поют-разговаривают черные дрозды, близко, явственно, громко. Белый цвет с вишен почти облетел, розовый поблекнул, но держится. То и дело из Бирмингемского аэропорт поднимаются, пролетают над Дорриджем лайнеры (почему-то приходит на ум созвучное: а где братья Вайнеры?). Прилетела сорока. Днем ездили с Джин в Бирмингем, Джин надо привести в порядок (ей одной известный) волосы, перед поездкой в Париж. На это ушло два часа, я слонялся по шоп сентеру (сентер шопу). В сентер шопе Бирмингема множество черных девушек и не совсем черных, но черноватых. Как-то раз я завел разговор на эту тему с Морин Эвершиед — о прогрессирующем почернении Средней Англии. Она посмотрела на меня как на нечеловека, сказал: "Ну и что? Все люди на земле одинаковые" Джин сказала про черноватых на улицах Бирмингема: "Это — Индия, Пакистан" Черные девушки ужас как милостивы, почти страхолюдны. Есть белые женщины и мужчины невероятной толщины. Немцы? Парень с собакой играет на дудочке. Смуглая дама с узорно выстриженным мальчонкой взяла мальчонке вазу с мороженым, с бенгальскими огнями; мороженое искрило. На углах в будках старые мужики продают газеты, орут дикими голосами. Бирмингем — затейливый город, малоэтажный, выстроен на увалах: вверх, вниз.

Мы с Джин то и дело ездим в Бирмингем; Джин свозила меня на выступление перед студентами-русистами Бирмингемского университета. В университетский городок есть несколько въездов со шлагбаумчиками; у каждого въезда служитель в будке в ливрее. Один из них дал Джин жетон, объяснил, в какой из въездов нам надо въезжать. Наш въезд без служителя, с кассой; Джин кинула в кассу жетон, шлагбаумчик прыгнул вверх. Мы въехали.

Отыскивали нужного нам преподавателя русской кафедры Майкла Пушкина (нет, не потомок, однофамилец)... Его предки — выходцы из Одессы. В университете шла экзаменационная сессия, голоногие студюзы гуртились на лужайках и парапетах. На встречу со мною, как значилось

на маленькой афише на дверях кафедры — поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга, пришли, надо полагать, наиболее преданные русистике (славистике?) юноши и девушки. Я тотчас выделил среди всех двух девушек — по их чистым, как небо в мае над Англией, юным глазам, с доверчивым в них любопытством к “русскому медведю” Так хотелось понравится молодым. Все-таки молодость окрыляет.

На кафедре у Майкла Пушкина я прочел в программе имена тех, кого здесь изучают, кто олицетворяет русскую литературу XX века: Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам... Посчитал нужным заметить: “Мои юные друзья, конечно, эти писатели — великие мастера, у каждого у них за плечами очень русская печальная судьба, но не думайте, что они покрывают все пространство русской литературы...” Майкл Пушкин мне возразил: “А кого вы еще можете назвать в двадцатом веке?” Я улыбнулся: “Ну, что вы, Майкл, у нас еще есть Есенин, Бунин... Пoblижe к нам Шолохов, Твардовский, Шукшин... Ну да, конечно, и Солженицын...”

— Ну, что вам еще сказать, мои милые бирмингемские русисты? Лучше я вам прочту стихотворение “Трубач (трумпэтер)” — картинку из жизни современного Санкт-Петербурга; нечто подобное, я думаю, можно увидеть и в Бирмингеме...

*Налегке, в исходе века,
на приступке у метро
на трубе играет некто
из Равеля — “Болеро”*

*Зол мороз, земля поката,
в небе звезды голубы.
Невзначай трубач стаккато
извлекает из трубы.*

*От металла стыннут губы,
в полумгле краснеет медь...
Раздается голос трубный —
это надобно уметь.*

*Человек стоит на камне —
русский, в валенках, живой,
может, Коля или Ваня,
с непокрытой головой.*

*Наземь кинута ушанка,
голос зычен в пустоте:
Я играю: “Варшавянка”,
“Роза-мунда” “На безымянной высоте”*

*Он зовет, кого, не знаю,
обещает хоть кому:
“Все, что есть, я вам сыграю,
ноту каждую возьму”*

*Кто-то что-то покупает,
кто-то что-то продает...
На трубе трубач играет
и ни капельки не врет.*



Я прочел это стихотворение по-английски, в нашем с Яном Шерманом переводе.

Джин с Яном улепетнули на четыре дня в Париж, на выставку Марка Шагаа и вообще проветриться. В Лондоне сядут в поезд и напрямик под Ла-Маншем — лататы.

Готовлюсь к вечернему выступлению на курсах русского языка в Бирмингеме. То есть как готовлюсь? просто размышляю с пером в руке.. “Я думал, о чем бы поговорить с вами. Вы изучаете русский язык. Очевидно, главное в нашей беседе — само звучание языка. Русский язык имеет несколько уровней; тот, что изучаете вы, самый верхний слой, это — служебный язык, то есть различные варианты фраз и словосочетаний, необходимых, ну, скажем, при первом визите англичанина в Россию. Выучить эти фразы не значит овладеть русским языком, в нем есть еще глубинные слои, уходящие корнями в народную речь...

На курсах русского языка в Бирмингеме мне задавали вопросы, я отвечал.

— Почему распался Советский Союз?

Вопрос вопросов. Если б я знал, почему..

— Насколько я знаю, внутренней потребности в отделении друг от друга ни у кого не было. Разделились и мучаемся. Нас не спрашивали... Простых людей, таких, как мы с вами, обманули...

В этом месте русские жены английских мужей — они превалировали (доминировали) на курсах русского языка в Бирмингеме, в качестве преподавателей-словесниц — зашипели, как клубок весенних змей: происшествие в той стране, откуда они родом, им представлялось демократическим благом. Я отбивался от русско-англоязычных леди, как мог: “У нас же плюрализм мнений, я высказываю свою точку зрения...”

Одна из русских жен английских мужей, черненькая; длинноносая, достала из чехла гитару, заиграла и запела песенку Окуджавы, дрожащим от волнения голосишком: “Когда мне невмочь пересились беду, когда подступает отчаянье, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный...”

Домой в Дорридж меня отвез Крис Эллиот, менеджер или, по-нашему, староста курсов русского языка в Бирмингеме. По пути мы заехали в паб, неамериканский, престонародный, с удовольствием выпили пива. В Дорридже, на Уоррен Драйв, 12, наедине друг с другом (Шерманы в Париже, Крис Шерман с друзьями в пабе), усидели бутылку водки, при расставании долго обнимались. Крис Эллиот живет в Ворвике, у него жена, дочка, кошка и собака. Согласно выработанной Шерманами программе, завтра мы с Крисом Эллиотом берем ленч (тэйк э ленч) в сельском пабе, в прелестном местечке, послезавтра едем куда-то в Уэльс, на какую-то ферму, где нам приготовлен прием.

Ну да, с сего момента Крис Эллиот берет попечение надо мной, становится моим чичероне.

Х

Крис Эллиот — странный малый... Когда мы с ним вдвоем в машине, у него старенький “Фольксваген”, вполне разговаривает по-русски, но стоит попасть в английскую компанию, теряет дар русскоязычия. Он мне сказал, что по происхождению француз, французский его родной язык; закончил Сорбонну, защитил диссертацию по профессии экономист, имеет печатные труды. Почему-то провел два года в Нижнем Новгороде, Казани, бывал в Москве, Питере. И еще два года в Эфиопии. Это сколько же у него осталось для жизни в Ворвике, с женой, дочкой, собакой и кошкой? Ему сорок четыре года, он лысый, веселого нрава, водку пьет не по-английски глоточками, а по-русски единым махом. Крис Эллиот сказал, что пролежал два года в параличе, руки до сих пор плохо слушаются. Показал руки, какие они непослушные. Крис сказал, что он на пенсии по инвалидности, на службу ходить не надо, весело посмеялся этому обстоятельству.

Первый наш с Крисом Эллиотом ленч в сельском пабе я описал в стихах, с пропусками и преувеличениями, но близко к натуре:

*...и в пабе том провинциальном,
от шумных центров в стороне,
я пиво пил — принципиально!
не в стенах паба, а вовне.*

*Трава повсюду зеленела,
цвела черемуха, вокруг
весна во сне оцепенела;
со мною пиво пил мой друг.*

*Вблизи канал тянулся узкий,
баржа влачилась в Бирмингем...
мой друг ни бе, ни ме по-русски,
я по-английски глух и нем.*

*Источно Англия дышала
цветочной розовой пылью.*

*Закуска легкая лежала.
Пел черный дрозд, как Виктор Цой.
Мы с другом искренно молчали,
бокалы пенились, вдали.
машины бешеные мчали.
Шел дух весенний от земли.
Как вдруг за столик ненакрытый,
от нас ничуть невядалеке
(ногами в землю крепко врытый)
две дамы сели. "Э-ге-ге!" —
мой друг, не знающий по-русски,
сказал, макая в пиво нос...
На леди были чудо-блузки,
а кто такие — вот вопрос,
до сей поры не разрешенный...
Весна в исходе, дни бегут...
Мы возвратились к нашим женам...
А пиво было вери гуд!*

Дорога от Дорриджа до уэльской деревушки Мейфорд прошла незаметно, всего часа два. Крис Эллиот сверялся по карте. Ровная Средняя Англия перешла в холмистую Уэльскую, вблизи зеленую, вдали синюю, облитую молоком весеннего цвета (образ взят мною у Некрасова: как увижу вишневый цвет, так сразу на ум приходят молочные реки — в России; а здесь какое же молоко? нигде не видно ни коровенки). В Мейфорде свернули с большака на автомобильную тропу, асфальтированную (тропа для путника разве что где-нибудь вон там, на холмах), скоро въехали на подворье усадьбы, со старинным барским домом, как где-нибудь в Тригорском; дом белокаменный, с колоннами и портиком. Встретить нас вышел высокий сухопарый, голубоглазый старик (такой, как я), повел нас через анфиладу комнат, точнее, залов, с гравюрами, офортами, литографиями на стенах, откликающимися на шаги полами, с деревянной лестницей, ведущей куда-то наверх. Мы пришли к накрытому столу на примыкающей к террасе площадке (стало быть, нас ждали); площадку окаймляли клумбы с цветами; прямо перед нами простирались холмы и долины Уэльса.

Пределы усадьбы были обозначены бордюром мелколиственного, жесткого декоративного кустарника, затейливо выстриженного. Мой первый вопрос хозяину был: чем стригут? Он сказал, что электрической стригущей машиной. Имени хозяина я пока что не знал. Скоро выяснится, что и он не знает моего имени. Ну и гости приехали: неведомо кто с большой дороги, неведомо к кому. Визит начинается с полного незнакомства (оказывается, Крис здесь тоже впервые), потом откроется множество интересных вещей, но постепенно, замедленно. Хозяин фермы по-крестьянски малословен, Крис Эллиот, как только явилась возможность лопотать по-английски, начисто вырубился из русскоязычия.

Хозяин принес на стол миску с чем-то жидким, разлил по тарелкам... Ага, это суп, может быть, щи, наподобие наших щавельных, остуженные, ледяные. Мой второй вопрос хозяину: что мы едим, то есть хлебаем? Хозяин сказал, что это суп из шпината, охлажденный не в холодильнике,

а в погребе. В супе из шпината плавали лиловые цветы, такие есть и у нас на лужайках. Я спросил, можно ли цветы проглатывать или они для украшения супа. Неулыбчивый хозяин в первый раз улыбнулся: не бойся, глотай. Мы представились друг другу: хозяина зовут Саймон Мид, по-русски Семен. Началось наше знакомство, приживание друг к другу, тоже замедленное, как сама жизнь на лоне природы, среди холмов и долин. Когда хозяин вышел из-за стола зачем-то: за белым вином, апельсиновым соком, поджаренными колбасками с картошкой — Крис Эллиот мне сказал:

— Семен очень богатый, был в Лондоне финансистом, потом стал фермером.

Да, но где хозяйка, домохозяйка? Согласно программе, составленной для меня Шерманами, а также по заверению Криса, на этой ферме говорят по-русски. Кто говорит? Саймон Мид ни бум -бум. Оказывается, в программе неувязка, непредвиденное обстоятельство (что бывает при исполнении всех программ, ибо жизнь состоит из непредвиденных обстоятельств): у жены Саймона Софи мама живет где-то на другом краю Англии (благо от края до края рукой подать), старушке 94 года, бедняжка упала, сломала шейку бедра, что случается со старушками во всех странах света (то же самое недавно случилось с моей тещей). Софи находится неотлучно при маме. Да, Софи знает по-русски, меня отправили на ферму в Уэльс в надежде на Софи.

Отобедали; Саймон малость разговорился: у них с Софи пятеро детей, два сына и дочка живут поблизости, тоже фермерствуют. “Вон там на холме видите желтый дом? Это дом моего сына. Двое живут в городах”

Саймон отвел меня по лестнице наверх в отдельную мне комнату. Каждая ступенька лестницы отозвалась своим звуком. Над лестницей развешаны офорты, кажется, со всеми цветами (флауэрс) мира. В комнате две постели со взбитыми подушками и тоже картины-гравюры, на них знакомые лица: матушка императрица Екатерина Великая — подлинник, русская гравюра XVIII века; канцлер Елизаветинской эпохи Михаил Воронцов... На полках толстые тома, с пылью веков... Но это потом, пока что только окидываю взором, предвкушая открытие совершенно неведомого мира.

Саймон зовет на первую прогулку по окрестности. Сначала на пасеку, здесь же, на усадьбе. Улы под молоком (сливками) цветущего вишневого, яблоневого сада... Пора цветения в Англии затяжная: я здесь уже две недели, сады цветут, не увядают (да, я в Уэльсе, повыше над уровнем моря, чем в Средней Англии, и весна попозже). У нас весенний цвет подобен первому снегу: только забелеет, заблагоухает — и как языком его слизет. Потом — возвращение снега, белые наши цветы: подснежники, черемуха, яблони, ландыши, рябина, таволга — зацветут, как снегом посыпет. Там, глядишь, Иван-чай оденется белым пухом, будто пороша, засеребрятся паутинки в лесу. И опять все станет белым: зима. Господи, как же все быстролетно, не остановишь, не успеваешь надъшаться дыханием белых цветов. Пал снег и на твою голову. О, как долги зимы в России, как коротки весны!

По автотропе въехали на верхотуру, дальше пешком. На воротах у входа в лес повешен знак — желтая стрела. Саймон сказал, что этот лес государственный, для всех. Ну и ну! Неужели? Как это ухитрилось английское государство оттягать кусочек леса у частного владельца? Саймон

предложил нам полюбоваться синеющей в дымке панорамой гор. Крис Эллиот заподпрыгивал: "Не Кавказ! Не Кавказ!" Саймон сказал, что там граница Англии с Уэльсом. Мы пошли по государственному лесу. В лесу росли лиственницы, но Саймон сказал, что это шотландские сосны (скотланд пайн). Ели посажены в рядки, может быть, посеяны, выросли так часто, тесно, что живые у елок только вершинки, снизу кроны отсохли. Лес посажен на крутом боку холма, в густолесье протоптаны лазы. Саймон сказал, что это барсуки ходят.

На лугу мы увидели идущего недалеко от нас по траве фазана. Саймон сказал, что вон там, на вершинах холмов фазанов было полно, но их перестреляли нехорошие люди. Мы шли по полю со всходами овса (оатс); перед нами проскакал кролик (рэббит), впрочем, можно его посчитать за зайца. В котловине приглашало посмотреть на себя озеро, так хотелось в него бултыхнуться. Я спросил у Саймона, как насчет того, чтобы нырнуть (с утра было + 28°). Саймон сказал, что ни в коем случае. В Англии, кажется, нет водоема, куда бы можно было окунуться: цивилизация, только частные бассейны (пулз). Джин Шерман сказала, что нынче в мае в Англии "русская жара" — неожиданная интерпретация России, как-будто это Африка. В России от жары можно макнуться в речку, озеро, пруд, море, а в Англии — увы (ай эм сорри), парься. Или становись богатым, заводи бассейн.

В уэльском лесу росли дубы, буки, попалась всего одна береза на весь государственный лес. В ногах синеют-лиловеют колокольчики (блю беллз), то есть голубые колокола.

На опушке леса, на вершине травянистого холма, близко к его крутосклону, стоял деревянный дом из бруса. Саймон сказал, что это — "Рашен хаус, русский дом" Почему русский? Очевидно, потому, что, собственно, не дом в английском понимании, а халупа на русский манер. в "русском доме" живут дочь Саймона Мида Рэчел, ее муж Майк, их крохотное дитя. Зять Саймона с детенышем сидели на траве, на разостланном одеяле, и цацкались. Почему-то единственной игрушкой младенцу служила завитая в кольца змея, с торчащим из пасти жалом. Рэчел представляла собой крупную, с голыми коленками, большими грудями под простым платьем дэваку, собственно, сельскую бабу. Майк небольшой, в полосатой тельняшке, с отсутствующим выражением на лице, как-будто его томила какая-то главная забота.

На другой (или на третий?) день моего гостевания на ферме Саймона Мида он отвез меня полюбоваться замком-крепостью с парком. В парке росли четырехсотлетние, вершинами в поднебесье, секвойи, под каждой из них штабелек спеленных сухих сучьев. Саймон сказал, что это работа его зятя: Майк приезжает сюда и в другие места, где растут реликтовые секвойи, забирается по стволу до вершины, спиливает-срубает то, что отжило. Трудная, опасная (вери хард, дэнджэрэс) работа.

Рэчел принесла яблочного соку со льдом, чаю с молоком. Саймон со всех сторон снимал своего внучонка, было видно, что любит.

Мы спустились по лугу, перелезли через изгороди в устроенных для оного перелазов местах. Саймон взял ведро, сходил в сараюшку, чего-то принес, высыпал в бадейку на овечьем выгоне; овцы (шип) сунули морды в кормушку.

Ночью я перелистывал том за томом архив рода князей Воронцовых — двадцать четыре тома, изданные в России в прошлом веке, по-русски и

по-французски. Я уже знал, что Саймон Мид — потомок русского древнего знатного рода. Его прапрадед Семен Воронцов (прапратетушка княгиня Дашкова-Воронцова) служил послом Российской империи в Англии при императрице Екатерине, при Павле, Александре I, в Лондоне и помер, в 1835 году. У Семена Воронцова осталась дочь Екатерина (еще был сын Мишель). На Екатерине женился некий английский сэр (в нарисованном для меня Саймоном Мидом генеалогическом древе фамилии неразборчивы). В семье появилась дочь Елизавета, на ней женился сэр по фамилии Мид. Последний побег в древе Мидов — Саймон (за ним его дети, внуки); он и владеец родовых реликвий. Ну да, потому и принял меня: я первый гость из России у него на ферме, близ деревни Мейфод, в Уэльсе. В жилах Саймона Мида течет русская голубая кровь, пусть сильно разбавленная английскими кровями; в его долговязом сухопаром теле — белая косточка.

В доме Мидов, в гостиной с камином, с кожаными диванами, с гравюрами на стенах — лицами русской, британской знати — множество книг; в кабинете-библиотеке хозяина и того больше. Написанные по-английски книги понятнее мне, чем говорящие по-английски люди. И опять знакомые с детства имена: Вальтер Скотт, Диккенс, Теккерей, Вордсворт, Джек Лондон, Конан Дойль, Гоголь, Толстой, Чехов, Горький, Шолохов...

Назавтра хозяин сварил грибного супу из шампиньонов. Всякий раз, спускаясь за чем-нибудь в погреб, выносил оттуда на ладони лягушонка-альбиносика, не выдавшего свету, отпускал его в траву. Между делом давал кошачьего корму рыжему коту, кормил желтеньких заполошных цыплят. Как-то было неловко влезать в чужие дела, но все же я спросил у Саймона Мида, в чем состоит его фермерство, ведет ли он хозяйство, где его овцы. Саймон сказал, что овцы есть, но совсем мало; принадлежащие ему овечьи выпасы он сдает арендаторам (тенантс). Все ли я теперь знаю о мистере Миде? О, нет, почти ничего. Была бы Софи, она бы все рассказала.

Софи позвонила из того места, где ухаживала за увечной матушкой, Саймон дал мне трубку, я услышал русскую речь Софи. Она сказала, что завтра, в воскресенье, в городе Велшпуле будет большой, чуть ли не европейский, рынок скота, мне обязательно надо побывать, Саймону сказано об этом, он свезет и покажет. Софи сочла нужным сообщить мне, что английское правительство делает большие инвестиции в фермерское хозяйство, посему оно и благоденствует. Может быть, она хотела внушить мне мысль о превосходстве фермерского хозяйства над колхозно-совхозным. Идейные женщины дай Бог какие пропагандисты своих идей!

Вечером поехали в городок Монтгомери, по ту сторону границы Уэльса с Англией, но все еще посреди уэльских холмов и долин. Городок Монтгомери — прелестное местечко (вери найс плэйс), как все городки Англии, чем дальше от центра, тем лучше: уют, спокойствие, доброжелательность, достаток. Мы с Крисом Эллиотом ехали на его драндулете, Саймон на пикапе, наверное, единственном таком во всей Великобритании: замызганном, битом, мало того, с грузом песка в кузовке: хозяин собирался что-то посыпать песком, да так и не удосужился. На таких машинах ездят только в России; должно быть, сказались русские гены в натуре уэльского фермера.

В Монтгомери подрулили к трехэтажному, однако маленькому дому,



фасадом на улицу городка. Нас встретили: мистер Джон Коутс и молодая дама по имени Францис. Мы прибыли в этот дом согласно программе Шерманов или вне программы, по воле Мидов (с согласия мистера Коутса), не знаю. Джон Коутс сразу сказал, что с ним можно говорить по-русски, с Францис и того лучше. Джон Коутс проявил осведомленность в русских замашках (в отличие от Саймона Мида), предложил мне выпить водки, хотя на дворе несусветная жара. В России он мог сойти за русского, где-нибудь еще за кого-нибудь (в Британии за британца): среднего роста пожилой человек с мягкими манерами, со следами думанных-передуманных мыслей на лице.

Хозяин пригласил гостей в дом к столу. Подавала, распорядилась застольем, обращалась ко мне по-русски, переводила меня на-английский Францис — высокая, стройная, темноглазая, просто, по-студенчески одетая, суровая, но с внутренним, вдруг проливающимся в улыбку теплом. Покуда рассаживались, Крис Эллиот успел мне нашептать (вспомнил русский язык): “Джон Коутс был профессором в Кембридже, вышел на пенсию и забрал с собой в свою виллу в Монтгомери аспирантку Францис. Так и живут на пару с подругой, это в Англии принято. А Джонова жена в Кембридже рвет и мечет...”

За столом кроме нас с Саймоном Мидом, Криса Эллиота сидела юная китаянка с блестящими агатовыми глазами, посматривала на меня, как-будто знала что-то такое, едва удерживалась от смеха. После мне скажут, что смешливая китаянка приехала с острова Тайвань учиться в английский

университет, квартирует в доме Коутса; Францис дает ей уроки английского языка. Еще был гость — ровесник хозяина, ветеран Второй мировой войны, приглашенный в связи с 50-летием нашей общей Победы. Отмечают Победу в Англии восьмого мая; сегодня седьмое. Разговор за столом перебрался с предмета на предмет. Речь зашла о русской деревенской избе (рашен кантри хаус). Я поведал англичанам о русской печке, как сладко спится на ней в долгие, мозглые осенние ночи. Гость Джона Коутса сделал на это счет важное замечание. Францис перевела его речь дословно. Вообще, было видно, что молодая хозяйка изю всех сил старалась угодить гостям и хозяину; приготовленный ею лосось был объединением.

— Мистер такой-то сказал, — перевела Францис, — что русская печь хороша в том случае, если на ней найдется места для двоих: она снизу, он сверху или наоборот.

Переводя дословно реплику мистера, Францис смутилась. Я заверил, что места хватит.

После каждой смены блюд мистер Коутс (он просил меня звать его просто «Джоном») помогал Францис убрать посуду, относил тарелки вилки в раковину (в маленьком доме профессора столовая совмещена с кухней), мыл, нежно поглядывал на подружку.

Кто таков Джон Гордон Коутс, я постепенно узнаю из его рассказов о себе. Рассказ первый: «В конце войны я был парашютистом (что значит быть парашютистом, Джон не объяснил). Меня сбросили в Венгрии, вблизи Будапешта. Там меня скрыла от немцев, спасла мою жизнь венгерская девушка. В Будапешт должна была вступить Красная Армия. Все так считали, что придут русские солдаты и изнасилуют всех девушек. Когда я в первый раз увидел русских солдат, я обнял мою девушку, сказал им: «Это моя девушка» Ее не тронули. Мы с той венгерской девушкой переписываемся всю жизнь. Недавно я был у нее в гостях».

Второй рассказ Джона Коутса... собственно, не рассказ, а необходимая, по его (и каждого англичанина) мнению, самохарактеристика: «Я получаю три пенсии: одну от министерства иностранных дел, за службу во время войны, другую из Кембриджского университета как профессор, третью на общих основаниях по возрасту. Мне хватает на все» Это в Англии главное: хватает на все или не на все. Англичанин отлично знает, что такое «на все хватает». Наш «новый русский» понятия не имеет, чего потребно его животу, бесится с жиру.

Самым неожиданным на приеме (парты) в доме Джона Коутса было заявление Криса Эллиота... Крис сам по себе представляет набор неожиданностей... Он заявил: «Я разговаривал по телефону с моими родителями. Мне необходимо у них быть. Я сейчас уезжаю» Из этого заявления проистекала полная неясность в отношении моего дальнейшего гостевания у чужих людей, кто меня доставит в то место, из которого я явился. За столом воцарилась пауза. Крис Эллиот встал и уехал. Джон посоветовался с Францис, Саймоном. Я безропотно ждал решения своей участи. Мне доложили: «Сегодня вы ночуете у Саймона Мида, завтра вечером пойдем на гору над Монтгомери, там будет костер по случаю Победы. Ночуете у нас. Утром Францис отвезет вас в Дорридж, ей все равно надо ехать в Кембридж, это по пути»

О'кей! Вери велл!

Ночью в доме Мидов читал архив князей Воронцовых: письма Семена Воронцова графу Безбородко, другим титулованным особам, донесения послу Российской империи в Лондоне штатных осведомителей — послы всех держав во все времена нуждаются в платных ушах и глазах. Утром Саймон вынес из погреба лягушонка, пустил в траву. Попили чаю-кофею, кому что по душе. Нельзя сказать, что мы сильно разговорились с молчаливым хозяином фермы, однако нам стало легко друг с другом: вот чайник, вот кофейник, поджарены тосты, вот масло, сахар, газета "Гардиан", рыжий кот. Посмотрим в глаза друг другу и улыбнемся, а то и походя приобнимемся. Сели, поехали в Велшпул, на скотскую ярмарку. Затесались в толпу уэльских мужиков-скотопасов. В загонках теснились овцы, их привезли, я думаю, в дюралевых фургончиках, на прицепах у лендроверов, в таких же увезут купленных. Над овцами по эстакадам похаживали джентльмены, выкрикивали цену, проводили аукцион. Фермеры в твидовых пиджаках, рябеньких кепочках, в свое время их звали у нас "лондонками" Со многими Саймон здоровался, разговаривал.

В отдельном манеже продавали быков: в центре как бы трибуна, президиум, аукционер с молотком. Джентльмен в галстук открывал воротца, хворостиной выгонял очередного продажного быка (балл) на обозрение стоящей в амфитеатре публики. Обезумевший от публичности бык метался, испражнялся: на табло появлялись цифры: вес, возраст рогатого. Происходил скорый торг, ударом молотка отбивалась последняя цена (ласт прайс). Второй джентльмен в галстук, с хворостиной, выгонял проданного быка в другие воротца.

Отобедали (отленчевали) в харчевне в Велшпуле, куда-то поехали, куда, я не спрашивал: не все ли равно? я находился во власти неведомых, почему-то добрых ко мне сил. По пологим подъемам, серпантинам мы забирались все выше, на самое темя Уэльской зеленой гряды. Остановились, когда выше стало некуда ехать. Зеленое, синее, белокипенное осталось внизу под нами, вокруг простиралось ржаво-бурое заболоченное, мшистое плоскогорье.

— Это — вершина Уэльса, — сказал Саймон.

Мы постояли, огляделись, поехали вниз.

Я сказал моему доброхотному чичероне:

— Спасибо, Саймон. Ты мне показал свой Уэльс. Я этого не забуду (дон't фогет). Приезжай к нам в Россию, я тебе тоже кое-что покажу.

9 мая 1995 года. Городок Монтгомери, на границе Англии с Уэльсом. Цветет сирень. Вчера вечером восходили на Городскую гору. Так сказала Францис: гора называется Городской. Сперва шли каменистой дорогой, затем на травяную макушку, как в Сростках на гору Пикет. Я поднимался все медленнее, у меня не тянул мой мотор... Я поднялся на вершину, когда монгомерийские обыватели пребывали в двухминутном молчании, в знак поминовения павших на той войне. Перед молчанием лорд-мэр Монтгомери, молодой человек, сказал речь, в том смысле, что в Гайдпарке в Лондоне королева (квин) зажгла костер, объявила двухминутное молчание, а теперь и мы, вслед за королевой. Дул холодный ветер. Огню были преданы сложенные для этого ящики. Пламя стелилось по траве. На других холмах Уэльса тоже зажигали костры, тем отмечая 50-летие Победы во Второй мировой войне.

Сойдя с горы, сидели у камина в доме Коутса, у живого огня: хозяин, Францис, Саймон, гость из России. Я читал Есенина, Пушкина, специально взял их для такого случая: почитать англичанам у камина. Слушали, доходило. Особенно слушал Саймон, улавливал звуки чужой ему, но родной его предкам речи. Джон выставил бутылку виски: наливайте и пейте.

Саймон уехал за полночь. Францис ушла к себе. Джон досказал мне важные моменты собственной биографии. Третий рассказ мистера Джона Гордона Коутса о себе перескажу своими словами. В молодости, будучи "парашютистом", он изучил венгерский язык (и русский). В зрелые годы посвятил себя научной деятельности в Кембриджском университете. Предметом исследования избрал коми-зырянскую литературу, для чего овладел и коми языком. Его докторская диссертация — о коми поэте, впоследствии ученом-филологе Иване Лыткине; профессор Коутс считает его основоположником коми литературы. В 37-м году Ивана Лыткина посадили; по счастью, он не сгинул в лагерях, вернулся. В 60-м году Джон Коутс побывал в Сыктывкаре, повидался со своим героем. Джон принес две неподъемные папки:

— Вот моя диссертация. Ее собирались перевести на русский язык, издать в Сыктывкаре, но почему-то дело остановилось. Раньше мне присылали журналы на коми языке, научные издания, теперь связь прекратилась. Я им пишу, мне не отвечают, не могу понять, в чем дело.

Я сказал:

— Джон, все объясняется просто: пересылка корреспонденции за границу у нас стала слишком дорогим удовольствием. Дорого, нет денег, вот и не пишу...

— Да, но я готов перевести им доллары...

Я посочувствовал единственному в Англии, а может быть, и во всем западном мире специалисту по коми-зырянской литературе (Францис — специалист по якутской литературе), а как ему помочь? Пока не знаю.

Забегая вперед, скажу, что по возвращении домой обратился за советом к одному коми писателю. Он мне сказал: "Профессора Коутса и его труд об Иване Лыткине у нас знают, но общение с ним пресекали наши органы. У них есть данные, что он профессиональный разведчик (парашютист?)..."

Но все это далеко, далеко, в минувшей эпохе. Я ночевал в доме почему-то доброго ко мне человека Джона Коутса, в городке Монтгомери, в крохотной комнатке, на постели китаянки с Тайваня, куда-то отлучившейся. В восемь утра хозяин принес мне чашку чая с молоком. Так принято в Англии: начинать день с чашки чая, подносить чашку своему близкому.

С утра девятого мая ехали с Францис по зеленым холмам Англии, sprinkled ранним утром дождем, охлажденным откуда-то принесенным зарядом холода. Францис сказала:

— Я уже двадцать лет имею водительские права, но у меня не было своей машины. Это моя первая, мне ее подарил Джон.

XI

Шерманы уехали в Париж на выставку Шагала, а я — в Лондон. Днем пили пиво в пабе у станции метро Квинсвэй (путь королевы; еще

есть Кингсвэй — путь короля) с корреспондентом “Правды” Павлом Богомоловым. Пиво черное, бархатное, солодовое; мера пива не кружка, а пинта. Перед тем, как идти в паб, я купил на Портобелло Маркет копченой макрели; мы пили английское пиво по-русски, под рыбу; англичане пьют так или заедают орешками, соломками, как птички. Мы просидели с Павлом в пабе, решительно никем не тревожимые, два часа, все говорили, говорили. Говорить по-русски с товарищем в Москве одно, а в Лондоне совсем другое — утонченное удовольствие, деликатес.

Ночую у Люси Дэниэлс, секретаря Клуба Пушкина (на встрече сама пригласила), в многоэтажном “точечном” доме, на Лэйтимер Роуд. Муж Люси индус, бывший военный летчик; они поженились в Индии; в Лондоне Люсин муж служит в охране отеля, дежурит по ночам. Их двенадцатилетний сын Сэмюэл, смуглый сумеречный мальчик, метис ирландско-индусских кровей, весь вечер смотрел телевизор. Вместе со мной в гостях у Люси (тоже остался ночевать) был рыжебородый Джон, в прошлом католический монах, разочаровавшийся в католицизме, принявший православие, читающий лекции по истории богословия. Пили красное вино, потом белое, ели вкусную еду, приготовленную Люси.

Из окна квартиры Люси Дэниэлс на седьмом этаже хорошо виден торчащий неподалеку, такой же “точечный” дом на Шеппердз Буш Грин, носящий название Вудфорт Корт (Люсин дом тоже как-то называется), в котором живет Ольга Ивановна Бабляк, при ней, повидимому, и Володя Ковальский...

Да, вот они, здарсьте! Ольге Ивановне уже 81 год, Володе 76. Про Володю не скажешь, что он старик, но... в глазах у него прибавилось дурного шизофренического блеску. У Володи Ковальского есть другое имя, другая фамилия. Живя с войны в Англии, он постоянно скрывался от карающей руки Советского Союза, в нем надо всем другим возобладала мания преследования. Теперь что же? на родине родные поумирали, бывшие когда-то связи пересохли. Теперь одинокое старчество на чужбине, распад рассудка и смерть.

— Ельцин продает архивы, — сказал Володя. — Вы бы не могли посмотреть? там должно быть что-нибудь про меня, я же предатель родины. Там же у вас про каждого что-нибудь было. О, да!

В последний вечер Шерманы пригласили на прощальный ужин одного Криса Эллиота. Мы хорошо выпили Смирновской водки, всласть поели зажаренную Джин свиную отбивную, поставили кассету с записью русских переплясов в исполнении Саша Корбакова на баяне и пустились в пляс. Каждый выделывал коленца в меру подвижности своих суставов и степени очарованности. Весело было нам? Не скажу, не знаю. Я радовался, что завтра буду дома, просто изнемогал от радости. А чему радовался англичанам? Что наконец избавятся от русского гостя? Кто же их знает? Все же в их англосаксонских душах есть что-то нам родственное, славянское.

До новой встречи! Гуд бай!